

О советском мифе, марксизме и научном коммунизме, и о будущем российской политологии

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1508>

11 декабря 2012

Собеседник

Поляков Леонид Владимирович

Ведущий

Найденкин Михаил Сергеевич

Дата записи

Беседа записана 11 декабря 2012 и опубликована 14 января 2013.

Введение

Доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики Леонид Владимирович Поляков рассказывает о философском факультете МГУ и Институте философии СССР в доперестроечные времена. О том, что понималось под политическими науками в то время, когда каждый человек обязан был быть политически грамотным, а все науки марксистскими. Могла ли быть политическая наука в условиях тотально идеологизированной системы. Возможна ли наука, когда дискуссия по определению опасна. Ученый размышляет, какое наследие оставила нам догматизация гуманитарного знания, о «профанизации» советского мифа, об утрате культуры полемики, о необходимости взаимного уважения в научном сообществе и переводе дискуссии из традиционно идеологической в научную плоскость. Отрадно, что одной из площадок, способной подняться над «мутными волнами злободневности», ученый назвал наш проект и наш архив.

Михаил Сергеевич Найденкин: Расскажите, пожалуйста, сначала, как вы пришли в профессию?

Леонид Владимирович Поляков: Хорошо, попробую вспомнить. Коль скоро у нас предмет разговора — политическая наука в России, какие-то ее исторические предпосылки, ее корни, возможно, есть еще в советское время. Тогда действительно нужно вспомнить, что большинство политологов, на мой взгляд, оказались таковыми, получив образование на философском факультете. В свое время, в 90-е годы, была даже такая язвительная шутка, что бывшие преподаватели научного коммунизма превратились в политологов. Вчера преподавали науку побеждать своих идейных врагов, а сегодня преподают по учебникам этих самых врагов. Да, конечно, это факт безусловный, так оно и было. Но кое-что, видимо, нужно вспомнить, чтобы понять, собственно, саму процедуру перехода. В ней какие-то веселые вещи все-таки состоялись, кое-что заслуживает памяти.

Сам я попал в философию по принципу «пятьдесят на пятьдесят». Не орел или решка, а передо мной был выбор: Институт физкультуры или философский факультет. В Институте физкультуры — шахматы, не футбол, не хоккей, хотя это я делал тоже с удовольствием. Но как-то в шахматах на тот момент был максимальный прогресс — первый разряд с двумя кандидатскими баллами. Я, наверное, мог бы стать каким-нибудь специалистом, сотрудником какой-нибудь шахматной федерации, не более того. Но почему-то меня понесло на Моховую. Тогда философский факультет был на Моховой, классический, гнездо. Там психология, никакой социологии еще и в помине не было, что там еще — географический факультет. В общем, классика — гнездо Московского университета. Почему-то меня понесло. На дневной я не поступил, потому что ухитрился сделать в сочинении, по-моему, двадцать три ошибки. Тогда же сдавали экзамены, это сейчас ЕГЭ.

М.Н.: Это конец 60-х?

Поступление в университет

Л.П.: 67-й год. Когда я пошел на апелляцию, а двоечники имели право, в отличие от других, смотреть свои работы. Я посмотрел на свой текст... Замечательная женщина меня встретила. Я ее, видимо, удивил тем, что не впадал в истерику, не бился за каждую ошибку, чтобы ее исправили. Настолько все было очевидно, что, видимо, я избрал какую-то интуитивно правильную тактику. Я ей запомнился именно тем, что в отличие от всех остальных, где припадки, конец всего... пришел молодой парень и, может быть, даже с каким-то юмором сам читал то, что написал. Уже не помню, про что было сочинение, про Толстого или еще что-нибудь.

М.Н.: Это шахматы выработали у вас такую стрессоустойчивость?

Л.П.: Может быть. Может, это привычка к тому, что, действительно, ты считаешь, что выиграл и вдруг получаешь мат. И понимаешь, что просчитал варианты на десять ходов, а на девятом развилку не заметил.

” В общем, я это вспоминаю потому, что, как выяснилось, 67-й год был последний, когда не призывали в армию с вечернего факультета. Да, с этого началось мое везение в жизни. И это был последний шанс, потому что искать какое-то другое место было бессмысленно и бесполезно, нужно было подавать на вечерний.

Там разрыв был, не помню какой.

Условие было, во-первых, устроиться на работу быстренько, принести справку, что ты рабочий. Это было сделано. Не буду называть организации (я ее помню до сих пор). Как-то я поступил туда, а через две недели, естественно, уволился, но это неважно. А вот второе обстоятельство заключалось в том,

что надо было срочно научиться не делать такого чудовищного количества ошибок. Я вообще-то грамотно писал, нормально. У меня не было проблем, я, так сказать, владел. Даже готовился с репетитором и прочее, и прочее. Но допустил большую ошибку: вложил в том сочинении в смысл. Писал четыре часа и буквально в последнюю минуту закончил, проверять уже не было времени. Я считал, что создал некий шедевр. На вечернем я избрал другую тактику: писал сочинение час, а три часа проверял. Сдал я три экзамена: история — пять, английский — пять и сочинение. Ждал сочинение, получил оценку — три. И оказалось, что это не проходной балл — тринадцать. Не помню, каким образом, но мне удалось... вернее, образ помню. Только двоечникам показывают работы, и поэтому право на апелляцию, но я пришел туда, не знаю, что меня вело, я же знал, что не показывают.

Меня вело, я пришел, и когда та женщина меня увидела среди ста или десятков тех, кто плакал, она меня сразу опознала и сказала: «Здравствуйте, что у вас опять?» Я говорю: «Вы знаете, у меня тройка». Она говорит: «Ладно, давайте посмотрим», вместо того, чтобы сказать: «Извините, формально вы не имеете права, идите со своими тринадцатью баллами в армию». А она сказала: «Давайте посмотрим». И посмотрела, у меня было три каких-то стилистических ошибки, даже не орфографических, которые были подчеркнуты, она посмотрела и сказала: «Пишите апелляцию». Две ошибки просто убрала, засчитала, что можно так, а можно иначе. Таким образом, она мне прибавила балл, у меня получилось четырнадцать, как раз проходной балл. И я оказался в моей альма-матер, святая святых, в Московском государственном университете имени Михаила Васильевича Ломоносова (в те года, дневной был пять лет, вечерний шесть лет), где благополучно проучился. И стал по диплому философом, там даже написано «философ-преподаватель».

М.Н.: А на какой кафедре вы специализировались?

Л.П.: Я специализировался на кафедре русской философии. Меня как-то повлекло туда. Не потому, что не знал языков, хотя английский я тренировал самостоятельно. Уровень обучения всегда был достаточно слабый, не говоря о том, что, учась на вечернем, вообще было проблематично себя всего отдавать. Я до сих пор необратимо завидую всем, кто учится на дневном, и своим собственным студентам в «Вышке», где преподаю. С завистью смотрю на них, понимая, что был лишен возможности с утра до вечера только слушать, учиться. Правда, когда учился, у меня была пауза год-полтора, я не работал, просто была возможность, помогали родители. Но в принципе остальное время уходило: в восемь, в девять начинать, в шесть заканчивать, всегда бежать. Потом мы переехали на Ленгоры, это еще время. В те года, собственно, передвижения на метро... это сейчас для меня ужас, а тогда норма, условие, без которого невозможно, наоборот, даже быстро. На самом деле потерянного времени было очень много, но я не жалею.

Философский факультет и Институт философии

У нас были престижные кафедры: кафедра критики буржуазной философии, которую возглавлял профессор Мельвиль, она считалась абсолютно элитной. Это, можно сказать, был мандат, путевка в жизнь. Кстати, так оно и получалось, оттуда много выпускников потом сделали серьезные карьеры. Серьезная карьера в то время, считалось, — путь за границу, тем или иным способом возможность ездить за границу. Очень престижной считалась также кафедра логики и методологии науки, потому что там был Александр Александрович Зиновьев, с женой которого я учился как раз на вечернем. Ольга Зиновьева, кстати, тоже является достойным объектом воспоминаний, рекомендую с Ольгой Мироновной встретиться, ей есть что вспомнить, очень много, на самом деле.

Значит, вот эти две кафедры. Одна считалась престижной и достойной, потому что там люди знали языки, они, по крайней мере, имели право читать какую-то литературу на иностранных языках, и вообще это считалась такая немножко элита. А логики и методологи науки как бы по определению — вот настоящие ученые. Одного Зиновьева было достаточно и его репутации в то время. Да, к логике относились так, что это не идеализированное знание, поэтому там люди... Внутри философского сообщества, и молодого, и старого, тогда всегда было напряжение, я бы сказал. С одной стороны, люди,

которые максимум выжимали из ситуации, которые не стеснялись быть карьеристами во всех смыслах, что подразумевало нюхать воздух и реагировать на самые последние партийные съезды, пленумы и прочее, и прочее. Не стесняться громить своих идейных врагов, проклинать весь Запад всегда, выслеживать малейшие поползновения на оппортунизм и прочие вещи в своей собственной среде.

” Не то, чтобы этого было много, но, я бы сказал, авангард философского сообщества ничего не стеснялся и на этом деле зарабатывал, прежде всего, конечно, право выезжать за границу. Всегда и во всех случаях право поехать на философский конгресс и вообще на любое мероприятие за рубежом считалось высшей премией.

С другой стороны, оппозиционная группа людей, которая всего этого стеснялась, все это считала просто неприличным. Это не была такая, в твердом смысле, диссидентская среда, но среда... скажем, к ней относились такие люди, как Эвальд Ильенков, Генрих Батищев, Юрий Бородай, из самых старших, старше меня в настоящее время значительно. Давыдов, Гайденко, такого типа люди. Повторяю, они не были диссидентами в прямом, буквальном смысле слова, не готовы были выходить на площади, писать какие-нибудь антисоветские, в том смысле, в каком это тогда понималось, произведения. Но это были люди, которые считали, что есть некое внутреннее достоинство, есть некое понятие о порядочности, которое исключало выслуживание, исключало то, что человек любой ценой... а любая цена подразумевала именно то, о чем я говорил, — агрессию, непримиримость (без всяких кавычек) к идейным врагам и на Западе, и здесь.

Это был какой-то круг, я бы сказал, что это были паритетные полюса. Большинство, конечно, было людей, насколько помню... а я работал два года в Институте философии в то время, когда учился. Кстати, Ольга Зиновьева меня и устроила в Институт философии в сектор эстетики к Михаилу Федотовичу Овсянникову (в то время декан, кстати говоря, философского факультета, о котором тоже ходила слава). Мне, по малости лет, тогда не очень все было понятно, но помню, что о нем всегда отзывались, как о человеке именно приличном. Начальник, но в то же время никогда не терял образ человека, не готового делать подлости. Я просто работал в институте и чувствовал не столько обстановку на факультете, поскольку приходил туда вечером и общался с преподавателями, в основном, сколько обстановку в философской среде, в самой сердцевине этой советской философии. Именно в Институте философии на Волхонке, в том самом «Желтом доме», который Ильенков описал (оговорка, роман написал Зиновьев — прим. ред.). Не только «Желтый дом», но и в «Зияющих высотах» персонажей оттуда тоже с избытком. Так получилось, что я как-то сразу почувствовал эту поляризацию внутри философского сообщества, притом, что, повторяю, большинство обычных нормальных советских людей — ни то, ни се, можно сказать, конформисты без упрека.

Научный коммунизм

М.Н.: Когда вы пришли, уже существовало отделение научного коммунизма?

Л.П.: Конечно, и я поступал именно на философию, не на научный коммунизм. Для меня это тоже был выбор.

М.Н.: А научный коммунизм каким полюсом был?

Л.П.: На научных коммунистов смотрели с точки зрения, что это люди, готовые на все. Именно так, хотя некоторые интересные сюжеты и идеи были у того же Батищева, и у того же Ильенкова, связанные с интерпретацией, что такое коммунизм, каким он может быть, как Маркс понимал коммунизм. То есть возможности творческие там тоже были, именно поэтому против того же Ильенкова, против того же Батищева регулярно объявлялись гонения со стороны тех или иных инициаторов из «цитадели

научного коммунизма». Их беспрерывно обвиняли в каких-то оппортунистических посягательствах. Я помню, как в 68-м году... был отдел исторического материализма, и там вышла книга, в которой некоторые молодые в то время ученые (молодые, лет под сорок, тридцать пять), позволили себе что-то неправильное писать. Я очень хорошо помню ныне Вадима Михайловича Межуева, тогда просто Вадима, для меня все равно Вадим Михайлович (старше на поколение, но со временем мы уже сошлись на «ты», хотя он старший товарищ, если сам не возражает). Помню, что был полный разгром, чуть ли не директора института в связи с этим снимали. Один из авторов, даже запомнил до сих пор, Михаил Виткин, который после, может не в связи, но после этого эмигрировал в Соединенные Штаты. Это тоже было чудовищным ударом по руководящим структурам института, потому что человек, который уезжает в Соединенные Штаты, вообще предатель во всех смыслах. Причем, чуть ли не член партии...

М.Н.: Почему я спросил про научный коммунизм. Как вы видите пересечение политологии и научного коммунизма?

Л.П.: Вот! Как я вижу?! Там же еще какая интересная была борьба, борьба сначала за то, чтобы возникла такая дисциплина, как социология.

**”
Ведь на самом деле в рамках марксистской теории никакой социологии не может быть. Марксизм и есть социология, исторический материализм и есть то, что называется социологией Маркса, больше ничего не надо.**

Поэтому институциональная борьба шла. Я краем сознания помню, что социологи, видимо, Левада в то время и его знаменитые семинары (правда, ни на одном из них я по молодости не был) — туда ходили. Тот же Межуев всегда с восторгом о них отзывался. Сама же социология была подозрительная наука, не «продажная девка империализма» как кибернетика и генетика, но внутри Института философии к слову «социология» относились с большой-большой подозрительностью именно потому, что социология предполагала посягательство на монополию истмата. Вообще сама по себе социология — буржуазная наука, это понятно. И если она признается за нечто, что должно быть включено в систему марксистско-ленинской философии, то, стало быть, она должна вытеснить исторический материализм. В связи с этим возникал вопрос именно о научном коммунизме. Это, собственно, что такое?

Марксизм — идеология или наука?

Помню, что в свое время Зиновьев как раз об этом писал и говорил. Тот замечательный спор: марксизм — это идеология или наука? Как раз конец 60-х годов, 68-й год, какой-то рубежный во всех смыслах: вторжение в Чехословакию и выход семерки на Красную площадь, которая тут же была повязана. После этого в сфере философии, а она считалась, конечно, идеологией, тоже началось очень большое закручивание всех гаек, которые раньше, наверное, откручивались, опять же по молодости не могу сказать, но наверное, по сравнению с 50-ми годами.

Проблема научного коммунизма в какой-то момент стала главная и основная. Что это такое? Учение о чем? Вообще учение ли это или чистая идеология? Я-то сейчас полагаю, что научный коммунизм по определению... тогда мы над этим стебались, как могли, и студенты, и все люди, которые тяготели к полюсу, я бы сказал, внутренней порядочности. Научный коммунист был для нас шарлатаном, прохиндеем и человеком недостойным, который продавался на сто процентов. Сейчас я понимаю, что на самом деле это трагическая вещь, потому что если брать проект Маркса, то вообще вся его теория и есть научный коммунизм, без истмата и диамата, просто научный коммунизм. Надо начинать читать Маркса с первых его текстов, с 44-го года, прямо подряд и понимать, что это целостное учение, которое начинается с анализа предыстории и заканчивается выводом о неизбежном конце. В конце истории переход в настоящую человеческую историю.



«Коммунизм есть незавершенный гуманизм», знаменитая фраза, рукопись 44-го года. Собственно, на этом, как на не умирающем корне, держится вся левая философская, социальная западная мысль.

Все западные марксисты — научные коммунисты так или иначе, как бы они внутри себя не спорили, как бы они не делились на тех, других, на постмарксистов, все в конце концов... Маркс их породил, для них сочетание «научный коммунизм» — некий общий background.

Это именно научное учение о том, как человечество жило раньше, почему оно дошло до стадии капиталистической, и почему эта стадия неизбежно завершится. Сейчас я это прекрасно понимаю и отдаю должное, потому что это целостная завершенная доктрина в хорошем средневековом смысле. Так же средневековые теологи, когда рассуждали о самых отвлеченных предметах, прекрасно знали, что это имеет непосредственное практическое значение. Споры о том, двуедина ли природа Христа, споры о соотношении ипостасей, все транслируется в реальную жизнь, и, скажем, разделение между католиками и православными, такое смешное, скажем, из интерпретации филиокве знаменитого и святого духа. Дух исходит от отца и сына, или от отца только? Это разделение породило, по сути дела, конфигурацию всемирно историческую. Не знаю, прав ли был Чаадаев или нет, если бы мы действительно восприняли не православное христианство... хотя мы восприняли его еще до раскола. Я имею в виду, если бы мы ориентировались не на Константинополь, не на Византию, а, скажем, на Рим и были бы крещены не византийскими попами, а католиками, как поляки, например, то, наверное, что-то радикально в мире бы изменилось.

Точно так же марксизм и научный коммунизм — целостная доктрина, жизнеутверждающая. Она зарядила собой советский народ, если посмотреть на наших людей старшего поколения. В этом смысле Александр Александрович Зиновьев — очень познавательный человек, его автобиография, там все видно. Поколение комсомольцев 20-х годов, ребят, которые от «земли» пришли, из костромских нечерноземных глубин пришли к знанию. Когда их стали учить научному коммунизму, и когда эта доктрина стала всеобъясняющей, она действительно энергетически зарядила. Думаю, именно это, в конечном счете. Когда задумаешься над тем, каким образом сто пятьдесят миллионов... ну да, сначала страх, закрытые границы, закрытые сообщества, но что-то... Смотришь старые фильмы, фильмы 30-х годов, все чаще мне хочется, я не устаю, реально, от «Веселых ребят», от «Волги-Волги», от «Вратаря» и вообще рекомендую...

М.Н.: Чувствуете, что в этих фильмах подлинная энергетика?

Л.П.: Невероятная энергетика в них какая-то, не то чтобы правда, но какая-то жизнь неподдельная.

М.Н.: То есть эта ценностная модель прижилась и во многих огромный энтузиазм породила?

Л.П.: Я для себя сейчас пытаюсь составить картинку, что главное, понимаете, у этих людей, у этого поколения конца 20-х — 30-х, комсомольцев-добровольцев первых советских, что их заводило. Не страх, хотя они жили среди страха и знали, что это такое. Невозможно представить, что они не знали. Но до 37-го года, хотя это очень условная дата, 37-й год, конечно, это в основном страхи. «Дети Арбата», конечно, — страхи столичной интеллигенции, двух столиц. А по всей стране, я думаю, принципиально ничего не изменилось, но что-то этими людьми двигало. Они просыпались каждый день, понимая зачем. Это же проблема каждого человека, по молодости может быть непонятно, поскольку преобладает просто физическая сила, проснулся и побежал наслаждаться, но в принципе, задача каждого человека, пережив маленькую смерть, понять, а зачем ты что-то делаешь?



У тех людей не было вопросов именно потому, что они были индоктринированы в хорошем смысле. Им предложили доктрину, которая непосредственно заряжала жизнь. Они были стихийными марксистами.

Независимо от системы образования, потом выродившейся в эти вечерние университеты марксизма-ленинизма. Это скорее была подкачка, как колесо накачено и едет. Держи полторы атмосферы, и будет катиться, даже одну, но сначала накачай! Потом все эти общества знаний, вся ерунда, я сам участвовал, сам ездил по стране, читал какие-то глупости. Но это работало просто на рефлексе, само собой. Скажешь два-три слова, и те люди, кто был индоктринирован с детских лет... уже это работало.

Я к чему это все вспоминаю. Вот Лимонов написал свою книжку «У нас была великая эпоха». Немножко по другим стандартам он говорит о 30-х годах, о величии чего-то, какого-то прорыва, хотя, наверное, о том же самом, об энергетике, о драйве. Великая эпоха — когда люди замахваются на историю, целое поколение. Не человек говорит: «Я пришел в эту жизнь, чтобы сделать что-то, чтобы меня запомнили», а потом, прожив жизнь, говорит, что все псу под хвост — я мог бы быть Достоевским, Шопенгауэром... А когда целое поколение, миллионы, действительно целое поколение вдруг ощущает себя творцом, понимаете. Это удивительная вещь. На мой взгляд, этот мощный заряд в доктрине был. Поэтому очень интересный вопрос: куда все это делось и сдулось, и почему?

М.Н.: Если эти ценности имели такое значение, действительно такое проникновение, значит, может быть, вы разделяете точку зрения, что разрушение этих ценностей и повлекло за собой дальнейшее?

Л.П.: А ценностей ведь никто не разрушал, вот в чем дело, и доктрину никто не убивал. Наоборот, вся система воспитания, индоктринации, наращивала только мускулы.

М.Н.: А что касается перестройки?

Л.П.: Да, перестройка — отдельный сюжет, но до перестройки, до 85-го года, странная вещь получилась, которую, видимо, еще предстоит проанализировать, осознать. Всякий порыв в истории, если он не реализуется, хотя, смотря что полагать реализацией... Может, для поколения 30-х реализация была в 45-м, 9-го мая они реализовались, в буквальном смысле. Да, мы победили и, заметьте, что до сих пор, сколько уже прошло, шестьдесят лет прошло с той поры, а больше какого-то источника регенерации, подкачки нет. Триста шестьдесят пять дней в году и только один день 9 мая. Нажмите на эту кнопку, и самый последний, так сказать, ветхий ветеран найдет в себе последние крохи жизни, чтобы встряхнуться, распрямиться. Да, ездят молодые, «Спасибо, деду за победу!», ленточки. Последняя-последняя точка 45-го года, наверное, все там и кончилось, я так думаю. Действительно, все остальное под откос, потому что вера была наивна, вот в чем дело.

М.Н.: Леонид Владимирович, может быть, такая, скажем, болезненная отчасти, концентрация на Великой Отечественной войне, в том числе и сейчас, объясняется тем, что по большому счету XX век оказался проигранным по результату?

Л.П.: Большой счет чей? Всегда конкретно. Поколение людей, которые победили и пережили 91-й год, когда Советский Союз закончился, да, для них, наверное, так. Но ведь ирония этой истории вот в чем: они победили, они реализовались, все остальное пошло только по принципу деградации. Умер Сталин, кумир — деградация; пришел Хрущев, о нем память только как о деграданте, как угодно — кукурузник и так далее; пришел Брежнев, по поводу его широкой груди — бровеносец Потемкин и так далее. Больше ничего?! Да, какой-то всплеск, вздрызг в виде Андропова непонятного, совершенно загадочного персонажа, который пришел и сказал, что мы не знаем страну, в которой живем. Помню, когда в газете «Правда» прочитал эти слова, я подумал, наверное, что-то случилось глобально-космическое, раз Генеральный секретарь партии коммунистической, идеология которой научный коммунизм, говорит, что мы не знаем страны, в которой живем... После такого признания, наверное, все должны были просто

встать и разойтись в разные стороны немедленно.

” Вы говорите «перестройка». Да, пожалуй, но ирония в том, что перестройка оказалась быстрым способом разобрать всю конструкцию, которую делали семьдесят лет, сами того не понимая. То есть сначала забивали сваи, гвозди, строили крепость, потом сказали, что смысл построения крепости как раз в том, чтобы быстро ее разобрать.

Да, мы были правы, мы были во враждебном окружении, мы строили свое Отечество как опору будущего, мы правы во всем, вокруг нас гниющий, разлагающийся, несправедливый мир. И вдруг мы начинаем сами себя уговаривать, что вообще-то не надо так уж закрываться, надо, наоборот, гласность, начать говорить все, что есть на самом деле. Раньше почему не говорили все? Чтобы не разочаровывать себя. Ведь когда идешь по трудному пути, по трудному маршруту, если будешь ныть, то ты не дойдешь. Это правильная стратегия.

Весь Советский Союз, с этой точки зрения, — история большой лжи, но лжи во спасение, как подпитка веры, оптимизма. Он должен был быть не по принципу «меньше знаешь — лучше спишь», а только хорошие новости. Как только начнешь упоминать о плохом, энтузиазм начнет сдуваться, такие были принципы. И когда вдруг заговорили о гласности: давайте все рассказывать, тогда зачем мы раньше все это делали. Или когда мы заговорили о рынке, это вообще была сдача, тем более в такой химерической комбинации, как регулируемый рынок, он или рынок, или... А уж тем более социалистическое правовое государство! Оно или социалистическое, или правовое. Потому что если социалистическое, там все понятно, там какое право? Революционное право, право страны, которая флагман человечества, авангард человечества, ведет вперед всех к коммунизму, какое может быть другое право? А право по ту сторону, буржуазное, объективное. То есть перестройка была тотальной сдачей всего и вся. Кстати, это предсказал Бердяев, не помню в каком тексте, но в году 30-м он говорил, что чем богаче будут становиться коммунисты, тем активнее станут сами заниматься демобилизацией. Пока бедны, они непобедимы, но они сами себя уничтожат.

М.Н.: И эти ценности при Хрущеве стали постепенно...

Л.П.: Конечно-конечно, да, ценности, я бы сказал, такого спокойного, нормального человеческого существования.

М.Н.: Без мировой революции.

Политология

Л.П.: Без мировой революции, без того, что Лиотар называл grand narrative. Вот этого не надо. Сегодня у нас есть еда хорошая, еще лучше сделаем завтра... Это страшно большое разочарование. Долго шли к политологии.

” Какое политическое знание могло вообще существовать в рамках того замкнутого корпуса, которое называли научным коммунизмом? Оно могло быть только одно, политика могла быть интерпретирована только как внешняя политика, не более.

Вопрос о том, что нужно как-то изучать институты политические внутри страны, мог ставиться только чисто прагматично. Надо было знать, какова структура партии, Политбюро, Секретариат, Центральный Комитет. Это могло считаться политическим знанием. Надо было изучать Конституцию, там написано,

что такое Советское правительство, Верховный Совет. Изучать для чего? Для того, чтобы в характеристике, которую получал каждый претендент на выезд, и не только на выезд, при переаттестации и так далее, чтобы тебе могли написать обязательную формулу «политически грамотен». Политология была разлита по всем порам, каждый должен был быть политически грамотным, политическое знание предполагалось как составная компонента, как важная часть каждого советского человека. Все были политологами в этом смысле, притом все должны были политически грамотны, чтобы хорошо понимать, как враги постоянно бряцают оружием вокруг наших границ, посягают на нас. Вот две ипостаси политического знания в то время.

М.Н.: И дисперсия политического знания в других дисциплинах, допустим, в истории, в юриспруденции?

Л.П.: Классовая точка зрения, конечно, безусловно, в этом смысле, да. Все науки подвергались этой радиации, вплоть до математики, в самых кретинских вариантах, например, ставился вопрос о том, чтобы марксистским было естествознание.

М.Н.: А не стоило ли эту радиацию сдержать в виде создания отдельной полноценной дисциплины?

Л.П.: Ну это вы сейчас такой вопрос задаете. Сдержать! Тогда это была статья уголовного кодекса. Как это сдержать? Задача именно в том, чтобы пронизать все знание марксистской идеологией, понимаете, это была четкая установка, тотальная марксизация.

” Не бывает нейтрального знания в рамках научного коммунизма, как доктрины марксовой, не бывает нейтрального знания, оно либо работает на тебя, либо против тебя.

В классовой войне, а она была глобальной, классовая война, Советский Союз против всех остальных, социалистическая система против капиталистического мира, нейтрального знания не могло быть. Это очень важная вещь, которую сегодня уже, видимо, трудно понять, но тогда это было так. Ваш вопрос, нельзя ли было ограничить, создать отдельную дисциплину — каверзный, подрывной вопрос. Вас бы за этот вопрос сразу поставили бы не на счетчик, а на лист ожидания. Наверняка пригласили бы для собеседования, как минимум, в партком, чтобы узнать, что вы имели в виду на самом деле, и не хотите ли вы покаяться публично за то, что вы это сказали.

М.Н.: А с наступлением гласности и затем в начале 90-х годов с появлением литературы...

Л.П.: Пошел импульс. Гласность — это открытость. Это право, с одной стороны, говорить все, что ты хочешь и думаешь, а с другой стороны, слышать тех, кого раньше тебе запрещали. Читать Солженицына «Архипелаг Гулаг», Пастернака «Доктор Живаго» и вообще всех, кого раньше нельзя было читать, не нужно было читать, потому что это было вредно для оптимистического настроения.

М.Н.: А что касается политологической литературы?

Л.П.: Вот тут, я бы сказал так. В начале 80-х есть одна вещь, я немножко к этому прикоснусь. Был такой заместитель директора Института философии Владимир Власович Мшвениерадзе, который проработал в ЮНЕСКО несколько лет, не помню, десять или пять. Это была страшная вещь на самом деле. Частично развал Союза связан с тем, что люди, работавшие за границей, неизбежно возвращались для того, чтобы как-то... слишком большой контраст. Даже будучи карьеристами, или (не знаю, не буду влезать в чужие души) искренними коммунистами, или циниками, они как бы заботились об имидже. Им было как-то не очень комфортно, что здесь такие дикари ходят, советские философы дремучие, которые ничего, кроме Маркса и Ленина не читали. А когда приходится общаться с западными коллегами на их языке, как-то хочется выглядеть... не просто «костюм от Кардена», но еще чтобы было за тобой сообщество тоже приличных людей — в глазах западных философов. Вот и Владимир Власович Мшвениерадзе начал насаждать в начале 80-х годов основы политической философии. Я помню очень хорошо, как Валерий Александрович Подорога (не такой старший товарищ как Межуев, но все-таки постарше меня), один

из наиболее интересных, самостоятельных мыслителей еще в те годы дремучие занимался тем, что под руководством Владимира Власовича Мшвениерадзе что-то такое пытался, какой-то проект был. Внедрить некую разновидность политического знания как самостоятельного именно в Институте философии. Я не вижу, правда, чтобы из этого проекта что-то серьезное получилось.

М.Н.: А в чем он состоял конкретно?

Л.П.: Хотели создать что-то в рамках марксизма, некую политическую философию... просто застолбить бренд «политическая философия» или «философия политики».

М.Н.: Попытка институционализации?

Л.П.: Да, сектор даже создали политической философии. Но, опять же, видно влияние очень простое и ясное. Это разложение, потому что жесткая, строгая, непримиримая доктрина живет именно тем, что утверждает: только моя правда, все остальное — ложь. А тут была уступка, был импорт, заимствование. Помню, что-то такое у поляков стали... Вятр был такой по социологии и политике. Как всегда поляки — канал транзита буржуазного влияния. Так что не в саму перестройку, а еще раньше люди, которые ездили и которым было стыдно выглядеть провинциалами дремучими и не современными, пытались что-то такое сделать.

Но мне кажется, что все-таки радикальное событие — сам распад Союза, после чего политическое знание стало как бы аксиоматичным. Новые программы учебные, политология как дисциплина. Политическая наука в западных университетах — давняя академическая дисциплина, уважаемая, огромное поле, самостоятельные ассоциации и прочее. Это, условно говоря, большой рынок поездок, контактов, общений. Естественно, все те семена, которые были раньше посеяны, еще в советское время, стали быстро всходить, на мой взгляд, путем простого перевода. Если посмотреть ранние учебники, да и сегодняшние учебники политологии, это в том или ином варианте перелопаченные простые учебники американские, британские, иногда из других стран. То есть никакой самостоятельности здесь в принципе не было и быть не могло. Это та область знания, где, как с японской электроникой, мы отстали навсегда. Пока что.

Собственно Запад потому и Запад, что он живет и рефлексировать, начиная с Декарта и Бэкона. Что происходит в западном материальном мире, об этом Чаадаев замечательно сказал, что искали истину, а нашли все остальное. Запад рефлексировать и создает сам себя, поэтому наука для Запада, опять же по-марксистски, непосредственная производительная сила уже лет как пятьсот. Маркс обещал, что это случится в коммунизме, а на самом деле это давно случилось, и уровень, тип знания и намагниченная история науки не дает никакому дилетанту возможности вообще туда войти.

В политической науке, к сожалению, мы абсолютные дилетанты, профаны в таком знаете... есть сакральная, а есть профанная. Сакральная — это западная политическая наука, американская, но не только. Хотя, говорят, что процентов девяносто публикаций по политологии (political science, точнее, или government, там два варианта, политология — это наше слово, к которому иностранцы уже привыкли, но на самом деле, это отражает степень несовместимости), так вот девяносто процентов публикаций просто американские. Поэтому, кто как! Перенимаем, стараемся различные отрасли: политическая социология, политическая психология. В области политической теории, которая по-разному интерпретируется, это то, что у нас называется или «история политучений», или «политическая философия». Это моя область, то, что я преподаю — история политических учений. Здесь невозможно отстать, потому что каждый раз, когда ты преподаешь Платона или Ницше, все зависит от тебя, нельзя сказать, что ты взял западный учебник и прочитал. Ты читаешь самого Платона, пусть даже не в подлиннике, и от тебя зависит, что получит студент, как ты сумеешь создать нужную обстановку. Что Платон для сегодняшних семнадцатилетних?



Пожалуй, здесь, в области политической теории, политической философии, на мой взгляд, сохраняются возможности равного сотворчества, во всем остальном — последовательное ученичество, надо просто перенимать методики.

Высшая школа экономики, факультет прикладной политологии

М.Н.: Сотворчество в том, чтобы свои курсы делать фундаментальными, ориентация на фундаментальность?

Л.П.: Чтобы выпускник Высшей школы экономики, факультета прикладной политологии базово был образован не хуже, чем выпускник Кембриджа, Оксфорда, Стэнфорда, Беркли, я не знаю, Шанхая, Нанкина, Токио. Чтобы выпускник наш, встретившись с выпускником Гарварда, о Платоне мог бы говорить на одном языке, о политической философии Платона. Это возможно. Все остальное, все стандарты — там.

М.Н.: Что-то из советского периода, в кавычках политической науки, сейчас мы можем взять, чтобы вокруг что-то оригинальное построить? Какие-то ценные наработки, ценные исследования, может быть, которые не пошли в жизнь?

Л.П.: Такая область — история философии, я специализировался на кафедре русской философии. Если некоторые тексты из тех времен почитать, скажем, Эрика Соловьева, писавшего о Канте, о морали и праве, или Бородай Юрий. На самом деле это вещи, которые вполне, я бы сказал, конвертируемы в области политической теории современной. Вполне. Вот оттуда...

М.Н.: Стоит какую-то ревизию проводить?

Л.П.: Да, там много написано очень интересного, живого. Если посмотреть тексты по истории зарубежной философии, по русской философии, оттуда я бы набрал какое-то количество того, что читабельно и валидно сегодня.

М.Н.: То есть искать надо, так сказать, в смежных направлениях?

Л.П.: Да, то, что сегодня относимо к политической теории и к политической философии, здесь, мне кажется, есть у наших предшественников вещи очень интересные. А если полагать, что марксизм все-таки остается доктриной, независимо от того, что с ним произошло институционально. Думаю, что марксизм в этом смысле остается потенциалом, только вопрос в том, как он может быть адаптирован сегодня. Скажем, Иммануил Валлерстайн — пример современного творческого марксиста. Его знаменитые концепции мир-системы, анализ постсоветского мира целиком и полностью в марксистской методологии. Это очень продуктивная вещь. Его предсказания, его прогнозы, его теория мира как центра и периферии, и возникающих отсюда политических последствий — это все возможности для очень продуктивного анализа, именно политического. Так что потенциал в самом марксизме остается, безусловно. Другой вопрос, что у нас таких убежденных марксистов не осталось практически, именно в политической теории и именно в политической философии. А здесь то место, куда мы в первую очередь приглашаемся. Понимаете, либо мы становимся этнографическим материалом, как папуасы, и ждем Миклухо-Маклая, который приедет, поживет среди нас и расскажет нам, кто мы такие.

М.Н.: Уже был такой момент двадцать лет назад.

Л.П.: Да, либо Леви-Стросс приедет, опишет нас, создаст науку вокруг нас, либо мы сами все-таки приподнимемся, не знаю над чем, над суетой, над скукой, над собственной апатией, над собственным невежеством, над собственными идеологическими, все еще доминирующими предпочтениями.



Наша наука, на самом деле, гуманитарная, именно политическая, но в значительной степени, к сожалению, пронизана идеологическими пристрастиями.

Либералы и консерваторы

М.Н.: Какого рода?

Л.П.: Либо либералы, либо консерваторы. Скажем, противостояние школы нашей, либеральной школы и, условно говоря, социологического факультета МГУ и особенно Центра консервативных исследований Александра Гельевича Дугина. Дугин — колоссальный интеллект, да, человек-эрудит, человек-Ломоносов, условно говоря. Все в голове помещается, все прочитал, но при этом все его тексты заряжены определенным образом, он же всегда работает как идеолог. То же самое можно сказать и о некоторых вещах, которые делаются у нас в школе. В меньшей степени, может быть, но всегда строгая, жесткая выдержка, в смысле либеральной установки. Либерализм и консерватизм, как некие парадигмы определяют даже научные выводы. Это так. Не знаю, может быть, это неизбежно... так же как, если ты марксист, значит ты марксист? Поэтому вопрос, который изначально стоял, возможно ли объективное социальное знание? Можем ли мы избавиться от своих неизбежных групповых филиаций, которые присутствуют в нас. Возможна ли такая, я бы сказал, социальная феноменология, когда мы за скобки повыносили все, что препятствует нам познавать чистые сущности? Не уверен... наверное так.

Но это мешает, это же мешает на самом деле. Если мы претендуем на создание некоего политического знания, политического знания как самопознания, оно всегда будет дискредитировано для кого-то. Скажем, тексты Дугина неприемлемы для либералов, тексты либералов-аналитиков, претендующих на некую целостную концепцию России, политическую, всегда будут неприемлемы для Дугина. Хотелось бы, чтобы в дискуссии условных либералов и консерваторов логические аргументы работали, а не презумпция виновности. Скажем, либералы развалили страну. Все. Или консерваторы — замшелые архаисты, которые тянут страну в средневековье. И так далее. Если удастся выйти на некие площадки, где будут соревноваться логики...

М.Н.: А это зависит от самих ученых или от политиков тоже? От какой-то определенной, стабильной линии?

Л.П.: Интересная вещь — ангажированность науки в сегодняшней России. Именно гуманитарного знания и политологии в первую очередь. Политология — самая ангажированная у нас, смешно, но так же как научные коммунисты, правда, они были единственными, у них не было оппонентов. Были оппоненты за рубежом, либо внутренние враги, их выявляли и быстро громили. А сегодня политизация сказывается в том, что разные лагеря, скажем консерваторы и либералы. Не знаю, опять-таки не хорошо, не плохо, но это факт. Это факт, политология вовлечена в борьбу внутреннюю.

М.Н.: А можно ли сказать, что на Западе, на который мы вынуждены так профанно ориентироваться, выработан язык научного общения, общий язык?

Л.П.: Он есть, потому что там есть и либералы, там есть и консерваторы, там есть левые, там есть новые, новые, новые правые, условно говоря, экстремальные националисты, но у них есть общая площадка. Они поднялись на такую ступеньку, где эти волны, мутные волны злобы дня уже не работают, там нужно обмениваться аргументами, понимаете. Это зрелость науки.

М.Н.: Другой уровень.

Л.П.: Другой уровень. Скажем, марксисты могут полемизировать с новыми правыми, теоретически. Журнал «Теос», там левые и правые, они полемизируют не потому, что они левые и правые, они выясняют

не то, что ты сволочь. Этот аргумент не проходит.

” У нас пока нет таких дискуссий, все дискуссии еще пока где-то, возможно, в будущем. А может быть, и нет, потому что степень ненасытности этой идейной борьбы, неприятия друг друга очень высока.

Вот что еще, кстати говоря, было очень трудно и тяжело: доктрина, превратившись в насаждаемую догму марксизма, вообще убила культуру логической полемики. Во-первых, потому что это было опасно, всякое твое несогласие интерпретировалось как оппортунизм и прочее, прочее, вплоть до посадок. Во-вторых, потому что это было само по себе парадоксально. Собственно, с чем не согласен? Маркс и Ленин все сказали. Давай, пожалуйста, реализуй! В борьбе не место и не время сомневаться, а без сомнений нет науки. Поэтому культура полемики, как презумпция заподозревания, как технология верификации и фальсификации, что придает статус каждому высказыванию, этого нет.

М.Н.: Может быть, причина еще в том, что сильны раны XX века, смутного времени...

Л.П.: Ну, наверное.

М.Н.: ...мешающие сквозь эмоции нащупать...

Л.П.: Это так, сквозь эмоции и сквозь непривычку. Понимаете, полемика должна была бы стать нормой всегда, но она всегда была исключением, она всегда была в советский период риском. Не могло быть полемики, был погром.

М.Н.: Получается, нам приходится заново начинать?

Л.П.: Что значит заново?

М.Н.: Имеется в виду XX век.

Л.П.: Парадокс вот в чем. Первые преподаватели... кстати, это тоже, в общем-то, трагедия не только академических институтов. Я давно не был в Институте философии, но люди, которые периодически мне рассказывают, у них очень печальное ощущение от того, что происходит. Разрыв колоссальный, старшие стареют, молодые не приходят или приходят совсем дети, которые не понимают, что, откуда и зачем. Разрыв ширится. В ВУЗах, может быть, не так, потому что в ВУЗы пошли многие, потому что ВУЗы в 90-е годы все-таки платили больше, чем институты. И в начале 2000-х, относительно. Не буду обобщать, но такое впечатление, что там больше было возможностей, в ВУЗах, поэтому все живое и энергичное двинулось преподавать. Но ведь живое и энергичное в массе — это советские преподаватели, лишенные культуры полемики по определению. Они сами воспитывались в культуре монополии, и получалось, довольно долго и, может быть, продолжается кое-где и сейчас, что мы не способны студентам привить базовое условие науки.

М.Н.: По-ильенковски, научить мыслить?

Л.П.: Научить мыслить, да. «Сомневаюсь, следовательно, мыслю; мыслю, следовательно, существую» — этот декартов неразрывный силлогизм начинается с «сомневаюсь». Совсем уже технологическое примечание. Я сам себя чувствую свободно, для меня наслаждение — войти в аудиторию, я готов, для меня нет проблемы ошибиться. Нет такого. Я иду к студентам. Но отлично знаю, что многие коллеги, многие преподаватели идут в аудиторию со страхом, что их на чем-нибудь подловят. Такой страх был у советских преподавателей, потому что боялись вопросов коварных в смысле политическом, типа «а почему у нас зарплаты низкие?» Преподаватель должен был идти и тут же писать донос, если он этого не делал, то мог сам оказаться... Сегодня многие преподаватели идут в аудиторию... нет, «многие» снимаю, скажу, часть преподавателей, для которых важно прийти и дать то, что они знают, без всякого риска,

что с той стороны поступит какой-нибудь вопрос о их праве преподавать. Это разные вещи. А аудитория может быть скептическая, может быть пофигистская, что во многих ВУЗах есть, студенческая. Вы, как человек молодой, знаете, как студенты различают преподавателей — с ходу.

И это страшная вещь на самом деле, с этим ничего нельзя поделать, потому что валовая продукция — массовые преподаватели. Сколько у нас ВУЗов? Несколько тысяч. Сколько преподавателей? Умножьте на сто, на двести, на триста. Кто они, откуда взялись? Это же не выпускники педагогических ВУЗов, где должны, по идее, учить методике преподавания. Мы же все самоучки. Я сам пришел в преподавание абсолютно с улицы, поэтому вопрос о том, как это будет происходить дальше и как преодолеть разрыв между нашей наукой и западной, с помощью какого контингента преподавателей? А так каждый год, это рутина, понимаете, это должно быть автоматически. Западный студент не испытывает дефицита, его учат люди, у которых научность, в смысле готовность к полемике, открытости — это просто составная часть компетенции. Разные преподаватели, вовсе не хочу сказать, что у нас идиоты, а там гении, ничего подобного. Вопрос в одном: в чем разница между «Жигулями» и «Мерседесом»? И то, и другое машина, и на том, и на другом можно ездить, но вот эффект разный.

М.Н.: Можно ли сказать, что это результат ущербности советского гуманитарного знания?

Л.П.: Можно, если считать ущербностью именно то, что гуманитарное знание находилось в рамках одной боевой мобилизационной доктрины, которая изначально подчиняла любое высказывание конкретной задаче — преобразовать мир. Когда это все превращается в сказку... сначала же был миф великий, который заряжал, потом он превращается в сказку, а все сказки — это опошленные мифы. Опошленные — в смысле пошло повсеместно, это и есть та самая профанизация сакрального.

” Когда марксизм превратился в вечернюю сказку на ночь в Институте марксизма-ленинизма, то и получилось, что смысл ушел.

Либо он был изначально — давайте перевернем мир; либо, если мы поняли... но мы даже не поняли, что это было, между прочим, до сих пор. Мы же не поняли, что это было? Вы говорите, проиграли XX век, что значит проиграли?

М.Н.: Я имел в виду, что претендовали на мировое господство в том или ином виде.

Л.П.: Не удалось построить коммунизм?

М.Н.: Да, и претендовали на мировое доминирование.

Л.П.: Нет, мы претендовали не на господство, идеология была такая: мы претендовали на то, что установим всемирную справедливость, мы не хотим...

М.Н.: В другой терминологии, по Макиавелли...

Л.П.: Да, пролетариат — последний класс, который устанавливает свою диктатуру для того, чтобы уничтожить класс как таковой. Мы претендовали на то, чтобы победить всех и сказать: отныне нет победителей!

М.Н.: Но в итоге победила другая система.

Л.П.: В итоге да, как угодно. В прагматичной терминологии американцев мы проиграли в «холодной войне». Да, может быть и так.

...Он же сказал самую главную вещь, что мы все время забываем свое прошлое, каждый новый день начинаем с нового, чистого листа.

М.Н.: То есть до сих пор нет исторического времени у народа, такое форматирование диска каждый раз. Это незрелость...

Л.П.: Он так и говорил, что мы растем, но не созреваем, в отличие от Запада, где можно установить: вот это так, вот это так. Посмотреть, как это развивалось, как менялось. Почему сегодня это красиво, да потому что к этому долго шли, почему сегодня так умно, потому что над этим трудилось несколько поколений, и каждый принес маленькую, маленькую, маленькую капельку смысла, и это продвинулось. Вот и все. В этом смысле двойственная судьба. Тот же Чаадаев придумал конструкцию «Русской идеи»: если мы последние пришли, то можем все, потому что над нами не властна логика времен, понимаете. К сожалению.

” Поэтому ваш проект в этом смысле, можно сказать, работа по завету Чаадаева. Давайте попытаемся закрепить собственное прошлое, тем более, что наконец технические средства это позволяют.

Просто нажал кнопку, и возник условный Поляков, он будет долго и нудно вспоминать свою молодость и вообще всякую глупость и чушь говорить. Но вдруг что-то кому-то в этом бессвязном рассказе западет, человек поймет, ага, здесь понятно, что он имел в виду. Может быть, для меня и для моих друзей, моих родителей, еще для кого-то, ага, вот эта веточка сюда пойдет. Он думает так про это, а я вот это свяжу с другим. Только так, а как иначе.

М.Н.: Мы надеемся на это.

Л.П.: Таковую, можно сказать, живую историю. Видимо пора, когда история пишется и создаются большие тома, необратимо прошла. Сегодня «много букв» — это приговор. Значит, вот в таком...

М.Н.: Цифровом формате.

Л.П.: В цифровом, общедоступном жанре... может, это больше времени займет, но зато не будет так трудно. Сел, посмотрел, если не интересно, на второй минуте выключил. Глядишь, ваш сайт создаст такую базу, и там можно будет походить.

М.Н.: Мы будем стараться.

Л.П.: Успехов вам!

М.Н.: Спасибо, Леонид Владимирович.